

ТРИНАДЦАТЬ РАССКАЗОВ



АЛЕКСАНДР СОЛИН

Александр Солин

Тринадцать рассказов

«Автор»

2026

Солин А.

Тринадцать рассказов / А. Солин — «Автор», 2026

Все кончается рано или поздно на белом свете, кроме самого белого света. Кончается день, кончается ночь, образуя череду черного и белого. Как клавиши рояля чередуются печаль и радость, наполняя нашу жизнь беспорядочными звуками бытия. Меняют мнение, утирают слезы, подбирают животы облака, уплывая восвояси. Кончается, как рулон туалетной бумаги и сама жизнь. Но бывает, бывает время, когда жизнь нам еще, как любимая жена, и хочется ей сказать и сделать для нее что-нибудь приятное.

© Солин А., 2026

© Автор, 2026

Александр Солин

Тринадцать рассказов

ДЕНЬ ГРОЗЫ

Предсказанная накануне, она соизволила пропустить утро и о своем появлении объявила лишь спустя два часа после полудня. Поначалу ее порицательный, несдержанный бас рокотал где-то за семью дверями, оглашая далекие горизонты тридевятого царства, но по мере того, как двери одна за другой открывались, ее угрозы звучали все ближе и отчетливее. Тучи подбирались исподволь, прячась за сияющими лицами облаков, сдирая по пути синеву, могучим прессом сгущая атмосферу и наполняя ее искристой дерзостью. Полные мрачной решимости, они вырастали вширь, сталкивая за горизонт, как за обочину белые возы облаков. За минуту до шторма притих в запоздалом испуге потный лентяй-воздух. Тяжелые редкие капли предъявили ультиматум сухой горячей земле, и вот уже первые вороненые шпаги дождя пошли полосовать ее тело. С ослепительным треском лопались небеса, заряжая воздух молодым электрическим задором, и пустые гулкие бочки покатались по яростному небу, громыхая и подпрыгивая на спинах туч.

Едва Столетов успел влететь под козырек автобусной остановки, куда последние метров сто уже бежал, смешно выбрасывая отвыкшие от подобной резвости ноги, как вчерашний прогноз подтвердился самым свирепым образом: впереди него, стерев шоссе, стеной встал ливень — отвесный, шумный, злой. Струи дождя, похожие на стальные стержни, вонзались в асфальт, и в том месте, где они вонзались, вскипали и лопались волдыри. Смешавшись с пылью, они грязными брызгами обдали Столетова до колен и загнали в глубину, оставив там восхищаться первобытным буйством стихии.

О том, что приблизительно так все и будет, Столетов догадался еще час назад, когда с мальчишеским озорством взобрался на шиферную крышу своей дачи и глянул окрест. Деревья зеленой зоны присели, шевеля трепещущей роскошью шевелюр, и поверх их голов обнаружился угрюмый, налитый фиолетовой неприязнью горизонт. Тут и пришла ему мысль воспользоваться подступающей грозой с непременно отключением электричества, чтобы прервать сельский отпуск и побывать в городе, где он уже неделю не был. Он позвонил и предупредил жену, вымыл и составил в шкаф посуду, убрал в холодильник продукты, проверил свет и форточки, взял зонтик, махнул на прощание соседу и отбыл налегке в сторону большой дороги. К этому времени тьма под куполом неба уже сгустилась до предпотопной. На ближних подступах сверкало и гремело, низкие птицы будоражили густой воздух, и многорукий разведчик-ветер метался от дерева к дереву, рывком задирая их одежду и обыскивая их. Столетов, было, заколебался, но вспомнив, что следующий автобус только через час, колебания отбросил и со всех ног припустился к остановке. Вот так он и оказался под ее лихо заломленным временем козырьком, и как только оказался, тут все и началось, потому что гроза — не человек и привычек своих никогда не меняет.

Замечательное действо, напоминающее расправу и исцеление одновременно, мог он теперь наблюдать, одинокий запыхавшийся зритель. Живительная обильная влага доставлялась на землю с каким-то болезненно-хлестким остервенением и вводилась в нее с пузырями и пеной на губах. Лечение вершилось с самым мрачным видом и монотонной мощью, под перекаты небесных басов и фотовспышки молний. Ливень принес с собой прохладу и запах пресной воды. Столетов прикрыл глаза и несколько раз глубоко втянул носом воздух, торопясь привязать беглый запах к чему-то ужасно знакомому и незаслуженно забытому. Ранние смутные воспоминания колыхнулись в глубине заболоченных вод памяти, но на поверхность не

всплыли. Столетов попробовал еще и еще раз, но запах притупился и потерял живительную силу. Однако и смутного колыхания оказалось достаточно, чтобы смягчить его душу.

Через неровное возвышение, на котором располагалась остановка, хлынула с дороги под откос вода, и ему пришлось перейти в другой конец. Едва он там уместился, как с другого ее края под козырек метнулась сторбленная фигурка под зонтом. По-птичьи взъерошенная, в мокрых выше колен джинсах и с небольшой спортивной сумкой, она забилась вглубь, сложила зонтик и обратилась в девушку. Стоя в воде и виновато улыбаясь, она быстро взглянула под ноги Столетову, желая и не решаясь потеснить его — там, где он находился, можно было мечтать лишь о тесном соседстве на двоих.

— Идите, идите, места хватит! — заторопился Столетов, поймав ее взгляд.

Девушка, продолжая виновато улыбаться, подошла, встала боком к изо всех сил потеснившемуся Столетову и принялась стесненной рукой взбивать сначала на затылке, а затем возле ушей прическу коротко стриженных волос, смущенно бормоча: «Фу, какой ливень! Какой ужасный ливень! Я вся промокла!»

Уже когда она направлялась к нему, он успел разглядеть ее достаточно, чтобы всполошиться и подтянуться. Росту она была на полголовы ниже него, с милым добрым лицом, выраженной талией и соблазнительными бедрами. Может, слегка не дотянула до нормы и портила пропорции длина ног, но, без сомнения, каблуки в нужный момент были способны исправить этот недостаток. Только все это было вторичным: дождь лупил по козырьку, девушка согнутой рукой скидывала волосы, а Столетов не мог оторвать скошенных глаз от волнующей игры ее груди.

В то лето женская грудь рвалась наружу. Носились узкие эластичные маечки с обширным вырезом, где и помещалась эта выдающаяся часть женского тела, открыто демонстрируя порой до трех четвертей своего объема. Оказалось вдруг, что грудь есть у многих женщин. Правда, носили они ее все по-разному: одни — как награду, другие — как украшение, третьи — пугливо сложив плечи и согнувшись, будто ждали окрика. И еще оказалось, что в отличие от других сезонов летнее разглядывание встречных женщин начинается с груди и начинать лучше издали, потому что о качестве груди, а, стало быть, претензиях ее носительницы точнее всего судить во время ходьбы. Тут важна, во-первых, амплитуда колыбаний, из которой можно вывести представление о начинке: едва сдерживаемое ли это бретельками ораторское красноречие или суетливый тренькающий говорок, воплощение плоских истин или скованное молчание околпаченных пленниц. Во-вторых, важно понять, следует ли грудь за строгим маршем каблуков, и если да, то тогда перед нами приструненная, залифтованная часть целого. Если же она волнуется сама по себе, ведет собственную, голосистую, свободную от тесемок и оков мелодию, то тогда мы имеем дело с грудью, живущей в пятом измерении, таким же загадочным и непонятным, как и четыре других.

Разумеется, маленькие хитрости женской компании не миновали внимания Столетова, который воспринимал их игру на обнажение скорее с усмешкой, чем с вожделением, забавляясь их милыми очевидными страхами выйти за рамки приличий и обнажить лишнее, ибо, что ни говорите, а женщина, публично обнажившая грудь, лишается тайны и окончательно теряет невинность.

Но это если смотреть абстрактно. Чисто же конкретно перед его взором в сей момент цвели два невыразимо свежих бутона, два прекрасных создания, берущие силу от ключиц, как от чистых ключей и ниспадающие золотисто-кремовым водопадом в бежевую пропасть эластичной маечки. Два расчетливо драпированные оазиса, две уложенные в треугольные колыбельки полупланеты, обладающие особым рода формой и притяжением, не поддающимся вычислению ни по каким формулам.

Над ними расколосось небо, и в образовавшуюся трещину покатались трескучие шары. Девушка вжала голову, невольно подалась к Столетову и сдавлено ойкнула.

Столетов важно расправил плечи и сказал:

— Ого! Где-то рядом пробило!

И завел руки за спину. Девушка испуганно ему улыбнулась.

— Электричество! — снисходительно пояснил Столетов.

У нее по две тесемочки на загорелых округлых плечах: от маечки — мягкая, снисходительная, от лифчика — врезалась в нежную кожу под грузом отягчающих обстоятельств. Столетов почти физически ощутил их налитую упругую тяжесть. Девушка шевельнулась, маечка отстала от тела, и Столетов скользнул взглядом сверху вниз туда, где сливочной белизной расцвела потайная часть.

«Классная грудь! — вздохнул Столетов. — Есть еще, оказывается, красота на белом свете...»

Шоссе оживилось, мимо них один за другим проследовали несколько автомобилей.

— В город? — поинтересовался он.

— Да, я сюда к подруге приезжала, жила здесь два дня, — охотно поделилась девушка.

— Ну, и как?

— Хорошо!

— Да, у нас здесь хорошо! — откликнулся Столетов. И, скосив глаза на ее грудь, добавил: — Особенно, когда гроза...

Гроза меж тем слабела, перебрасывала силы на другой фронт. Арьергард ее, в меру бестолковый, как и все тылы, отстал от основных сил, образовав разрывы, и заоблачная жизнь голубыми глазами глядела оттуда на тонущую землю. С тыловых повозок капало, капли сверкали на лету, и казалось, что обоз теряет на ходу бриллианты.

Вода сошла, и стало возможным отодвинуться друг от друга. Оба это понимали, однако положение не меняли. Наверное, чтобы не обидеть один другого, а может, из предусмотрительности — вдруг, ливень припустит с новой силой. Так и стояли, смущенные странно возникшей близостью, дающей право на короткие реплики, которыми два незнакомых человека никогда не посмели бы обменяться при обычных обстоятельствах.

Наконец подплыл автобус. Открылась передняя дверь, и Столетов пропустил девушку, держа над ней зонт. «Спасибо...» — улыбнулась она. В салоне были свободные двухместные сидения. Девушка, не глядя на спутника, опустилась на одно из них и подвинулась вплотную к окну, оставив справа от себя красноречивое пространство для Столетова. Тот стоял в нерешительности, и тогда девушка повернула к нему лицо и молча улыбнулась. Столетов замешкался и, не разобрав природы улыбки — то ли приглашение, то ли прощание — смущенно в ответ улыбнулся и на всякий случай прошел дальше. Усевшись, он обнаружил у себя приподнятое настроение и нежелательную сходить с лица улыбку. Чтобы унять смущение, он повернул голову к окну и принялся глядеть сквозь струи воды туда, где на горизонте расправляли плечи белые бастионы облаков. Мысли его были заняты незнакомкой. Ему вдруг стало казаться, что не приняв приглашение, он ее обидел или, в лучшем случае, разочаровал. Ему захотелось подойти и объясниться. Сказать, что он не посмел воспользоваться ее вынужденной вежливостью, что навязываться к красивым девушкам не в его правилах и что редкий случай с ароматом озона не дает ему никакого права на ее ответную доброту. Но он тут же подумал, как глупо будет выглядеть, если молодая (лет двадцать пять, не более) девушка скажет ему, сорокалетнему, что ее улыбка — всего лишь благодарность за его галантность и ничего сверх того не подразумевала. И тогда он, чуть подавшись вбок, с грустной улыбкой стал поглядывать туда, где вырисовывались плечи и голова незнакомки. Девушка с четырьмя тесемочками на загорелых округлых плечах, одиноко покачиваясь вместе с автобусом, смотрела в окно, и от ключиц ее, как от чистых ключей в бежевую пропасть эластичной маечки низвергался, распадаясь надвое, золотисто-кремовый водопад.

Когда автобус прибыл на конечную, Столетов сделал так, чтобы оказаться позади нее и добродушно сказать:

— Ну вот, наконец-то приехали!

Девушка обернулась и улыбнулась ему, как старому знакомому. Оказалось, что ей на метро, а ему на маршрутку. К этому времени гроза кончилась, и больше их ничто не связывало.

— Приезжайте к нам еще! — сказал Столетов, прощаясь. — Мы вам такую грозу устроим!

— Обязательно приеду на эти выходные, но грозы больше не надо! — рассмеялась она и скромно потупилась.

— Где же мне вас найти? — спросил он, не спуская с нее глаз.

— На речке! Мы там целый день!

— Тогда до встречи, и всего вам хорошего!

— Спасибо, и вам!

Провожать ее он не решился.

Добравшись до дому, он выбрал момент и сказал жене:

— Что ты вечно ходишь в своей футболке! Купила бы маечку с глубоким вырезом!

— Ты шутишь! — воззрилась на него жена.

— Какие могут быть шутки, нынче это в моде!

— Да есть у меня...

— Вот и носи!

— Ладно. Ты когда обратно?

— Завтра! — не задумываясь, ответил Столетов и улыбнулся, представив, как темнокожая ночь-мулатка выскользнет из покоев белого господина, и утро в саду, пока солнечный оползень не сойдет с небес, будет пахнуть пряностями и будущим медом.

В ПАРИЖ, УМИРАТЬ

1

...Потому ли цветет черемуха, что холодно или потому холодно, что черемуха цветет? Не такой уж праздный вопрос, как кажется, учитывая очевидную наготу факта. Если не смотреть на феномен прищуренным глазом и не увильнуть от погружения в его сущность, тут очень легко опуститься до глубин головокружения. Иначе как обручить этот чудный, белоснежно сумасбродный запах и мстительное дыхание севера, как помолвить золотой жар шампанского с предсмертным блаженством устриц на льду, пыл майского солнца на затылке с затаившимся там же сыроватым холодком будущего тлена?..

Все перепуталось в голове Вовы Штекера, все сдвинулось и расползлось вкривь и вкось благодаря покосившемуся жизнедеятельному основанию. Потеряли свое место, значение и путеводный свет дары жизненного опыта, эти пресловутые ценности жизни, оказавшиеся на самом деле всего лишь химерами серого вещества. Растерянные, скрюченные, жалкие, меньше всего похожие на свое фривольное кафедральное воплощение, цеплялись они теперь за сползающее покрывало жизни, пытались остановить и вновь натянуть его на то ужасное, что под ним неотвратимо обнажалось.

Как это все скоропостижно и глупо. Две недели назад, вконец обеспокоенный неукротимым монологом головной боли, рот которой не удавалось заткнуть никакими средствами, он пришел к врачам, где ему тут же назначили сканирование. По пути в аппаратную пришлось миновать тихий двор, а там, в углу, не подозревая о просторах и любви, дарила красоту казенная черемуха. Такое случается в Питере, когда бледная, удочеренная беспутным солнцем весна порой не в силах утвердиться в правах. Тогда и вспыхивает кипучим белоснежным красноречием в защиту ее законных прав это корявое, черноватое, опушенное мелкой зеленью и украшенное благовонными аргументами дерево. Ледяной усмешкой встречают демарш одноногой

адвокатессы северные опекуны. Несколько дней длится молчаливое противостояние, пока не заспешат к ней на подмогу низкорослые сиреневые взрывы, а там, глядишь, и липа заструится желтым медом. Вова скользнул тогда по черемуховым прелестям хмурым глазом и радости ее не поддержал. А через час в голове у него обнаружили опухоль. Врач посмотрел снимки, посоветовался с богом и объявил, что нужна операция, иначе у него на все про все не более полугода. Вова возвращался домой одинокий, чувствуя себя как птица в пасмурном небе над голыми деревьями — хотелось молча лететь, куда глаза глядят.

Постепенно он взял себя в руки, навел справки — они его обнадежили. Назначили день операции, затеплилась надежда, пока Интернет не проговорился, что польза от такой операции лишь троим из десяти. Может, в самом деле, оно было не так, а лучше, но слово упало рядом с опухолью и проросло там. Да и как могло быть иначе в голове, где буйно цвели метафоры, колосились рифмы, плодились образы, множились иносказания, кликушествовали исполненные метафизического чувства лирические герои. Теперь он жил, словно грецкий орех внутри себя выращивал, притом, что о его вынужденном мичуринстве никто ничего не знал. Решил он назло всем умереть тихо и незаметно. До операции оставалось две недели, и он вдруг подумал, что пора на всякий случай проститься с белым светом, и что начать следует с самого далека, то есть, с Парижа, поскольку на самом деле прощаться ему было больше не с кем. Холост и безроден был Вова Штекер в свои сорок пять.

Визу он по роду своей деятельности имел, а потому, презрев обязанности, связанные с издательством и никому ничего не сказав, улетел в Париж, где и находился в сей момент на своем любимом месте, попирая его сердечный клапан — там, где мост Сен-Мишель, преодолев водное препятствие, готовился передать короткую, обрамленную неприлично низкой балюстрадой эстафету городского кровотока долговязому, плечистому солнечному бульвару того же имени. Майский день, как обнаженный сверкающий атлет, мускулистым издевательством навис над умирающим, каким Вова себя уже назначил. Перед ним, приправленное неотвязной головной болью, дрожало омытое свежим солнцем изображение некогда любимого им города. Только отчего же «некогда» — любит он его и сейчас, любит тихой, светлой, тающей любовью, до застилающей глаза слезы, но слезы отнюдь не умиления, потому что приехал Вова как-никак прощаться. И, пожалуй, был он сейчас единственный среди ротозеев космополит, что явился сюда резюмировать ту way и последний раз полюбоваться на этот болезненно-сочный плод чужой культуры. Как, однако, странно и не совсем прилично быть привязанным к чужой культуре крепче, чем к своей. Но с какой стати и когда сделалась она ему близкой? А вот с какой.

Жил с ними некогда в коммунальной на три семьи питерской квартире один замечательный потомственный туберкулезник с французской, которую иначе как вензелями не напишешь, фамилией, и которого все по-свойски величали Петровичем. В то время, если покопаться, много интересного человеческого материала можно было нарыть в питерских коммуналках. Доживали там свой непростой век сверстники Хемингуэя и Набокова, Превера и Сент-Экзюпери, Натали Саррот и Маргарет Митчелл, не говоря уже о Дунаевском и Дюке Эллингтоне. Имел Петрович измученное благородством лицо, слепить которое потребовалась не одна сотня лет. Лицо настолько породистое, что его в качестве статиста первого плана ставили рядом с героями костюмированных лент, где его седая пышная грива и горящие впалые глаза мелькали символами эпохи угнетения рядом с Гамлетом, Оводом и прочими официальными страдальцами той поры. В его комнате кроме скудной мебелиной необходимости находился рояль, а сам он сверх всего умел говорить по-французски. Естественно, что Вову в то время (а помнил он Петровича лет с пяти) мало интересовали причины такого набора культурных качеств в простом советском пенсионере. Тем более не задавался он вопросом — потому ли Петрович говорил по-французски, что был из благородных или, потому что из благородных, он говорил по-французски.

Петрович не ладил с сыном, а тот за это не допускал его до внука, и все свои невостреманные навыки Петрович, как кормилица молоко отдавал Вова, да так ловко и успешно, что к десяти годам Вова к неопишуемой гордости его ныне покойной мамани легко и весело лопотал на чужом языке, доказывая невольным образом себе и Петровичу, что и кухаркины дети способны говорить на французский манер. Повзрослев, он определил иняз своей целью и также легко и весело туда поступил. К тому времени, как он его с блеском закончил, подкатали совсем веселые времена, и пошел он вместо аспирантуры кочевать с фирмы на фирму, с коллоквиума на симпозиум, от деловой части к а ля фуршету. Утомившись, пробовал преподавать, но рутина отвратила его от этого уважаемого занятия, и он расстался с ним, жалея лишь о щебечущем обществе молоденьких барышень, к которым был всегда неравнодушен. Сделав таким образом выбор в пользу серьезных упражнений, он окончательно осел за домашним бюро, имеющим в качестве достоинства много глубоких ящичков, куда и отправлял продукты своего внебюджетного творчества. Продукты же творчества подневольного сдавал в издательство, обрета, наконец, заслуженное признание и связи в узких академических кругах России и Франции. К моменту печального открытия был он занят переводом романа из современных, для себя же готовил впрок антологию французских символистов.

Вот, пожалуй, и вся интродукция. Хотя, нет. Нелишне будет помянуть его первое посещение Парижа, когда он, дрожа от истерического восторга, дни и ночи напролет пристраивал причудливый литографический образ — плод изворотливого воображения — к шершавому рукопожатию камней, дружескому рукоприкладству сбитых мостовых, к нерасчетливому сцеплению улиц и умеренному разливу площадей. Изводя себя романтическим чувством, исполненный священного трепета, он, однако, напрасно пытался встроить свое тело в чужую ауру. Оказалось, что знания языка недостаточно, чтобы город признал его своим — в лучшем случае к нему относились с курьезным почтением. Французы, знаете ли, люди не нашей доступности. Судя по флагам, мы перпендикулярны друг другу, как перекрестное движение. А главное — у французов есть слово, которое значит для них многое, если не всё и которое они за это проносят с особым чувством. И слово это — опюланс. Нет, нет, не так! Сначала скажите «ОП» и придержите дыхание, будто у вас язык отнялся от удивления. Затем с легким свистом выпустите часть воздуха и потратьте его остатки на звук «Ю». Вдоволь насладившись им, переходите к заключительному аккорду и через дырочку в звуке «С» сдуйте шар вожеления. Вот так, вот так. Можете для ансамбля закатить глаза. Тогда то, что получилось, будет означать и роскошную женскую грудь, и раскидистую пуховую постель на троих, и крутую тачку, и толстый крокодиловой кожи кошелек, и богатый стол в компании красивых женщин, короче — мечту с шиком.

Помнится, после возвращения из Парижа он кинулся искать его следы в Питере. Взглянув на родной город другими глазами, он нашел, что красота его рассредоточена на излишне большом пространстве, а потому отсутствует необходимая ее концентрация для произведения камерного эстетического эффекта. Кроме того, архитектура Парижа находчивей, озорней и богаче, а неопрятность — во сто крат поэтичнее. Дальнейшие наблюдения только подтверждали его выводы, притом, что он продолжал оставаться искренним патриотом...

Вот как все сплелось и выглядело к тому моменту, когда Вова Штекер оказался на перекрестке европейских чужбин, на углу, как говорится, их М0ховой и Гороховой. Посмотрите прямо. Вы видите перед собой рукав Сены, омывающий остров Ситэ с левой стороны. Обратите внимание на плотную, добротную застройку его левого берега. Дворцы — не мы! Нотр-Дам на их фоне выглядит не намного выше. «Я на площадь пойду к Нотр-Дам и тебя, малышка, продам...» (*) Не хотите смотреть налево, посмотрите направо, на дома вдоль набережной. Дома эти, между прочим, жилые, и потолки там не ниже пяти метров, и проживают в них сравнительно простые французские граждане. Возьмите на заметочку — панели столицы живут насыщенной общепитовской жизнью, так что перекусить здесь можно практически на каждом

шагу. И случайное знакомство свести — тоже. Ах, вы не желаете свести случайное знакомство! Ну и не надо! Тогда хватит торчать здесь, как ржавый гвоздь в картине! Ступайте себе с богом в ваш отель на углу Сен-Мишель и Сен-Жермен и продолжайте там терзать себя забронированным летальным исходом! В конце концов, здесь и не такие люди помирали! Только заметьте по пути между делом, как много в Париже зелени и солнца!

День как-то враз померк. Вова уныло брел по фасонистому тротуару, заботливо ступая, чтобы уберечь от толчков ноющие мозги. Он плелся, начисто лишенный былого восторга, который в другое время непременно бы испытал. Всё это каменное, пестрое, чужое, равнодушное не трогало его отныне, а лишь раздражало. Возможно, отправляясь сюда, он рассчитывал на «Элегию» Массне, только на самом деле вышел «Фантастический вальс» Равеля, причем в его финальных каденциях, то есть, полный и решительный бардак. Сквозь тупую боль он видел перед собой то, на что раньше смотрел снизу вверх, почтительно задрав голову, плохо понимая, с трудом различая очертания и веря на слово всему, что оттуда несло. Теперь вот он забрался на вершину и что же он здесь обнаружил? Эти парни с неподвижными лицами и дурацкими рюкзаками за спиной, размашисто шагающие навстречу и одетые кто во что горазд, эти замкнутые, отстраненные месье, выгуливающие сами себя среди беспородных иностранцев, могли бы быть более участливыми к его положению. Впрочем, что другого ждать от парижан, скрывающих за тонкой усмешкой и лакейской на службе у Красоты неподступностью бронебойный эгоизм их натуры. Эти гибкие девочки, эти парижанки, с рождения обретающие свое звание, как вселенский титул, могли бы добавить в случайный взгляд больше сочувствия. Впрочем, француженки в большинстве своем некрасивы и знают это, также как и то, каким образом этому помочь.

Ах, да что там говорить — расстроилась, расстроилась музыка Парижа!

«Надо было хоть раз проститутку снять ... — проснулась задняя мысль. — Почему я раньше никогда об этом не думал?»

2

Добравшись до сплющенного, словно океанский корабль дома, чей тупой нос уткнулся в проспект, как в причал, Вова поднялся к себе на третий этаж и, не снимая одежды, рухнул спиной на кровать.

«Что ты тут делаешь?» — тут же принялась крепкими толчками допрашивать его проникшая в кровь головная боль.

«Чертова боль! С тобой с ума можно сойти!.. — отвечал он, прикрыв глаза. — В самом деле, какого черта я сюда приперся? Теперь вот лежи здесь один и подыхай!»

Для свидания с Парижем он выпросил у судьбы три дня, сегодня был первый. Разумеется, добрый доктор Айболит выписал ему таблетки, но посоветовал не злоупотреблять, а он и так уже принял их сегодня две. Вова лежал неподвижно, ощущая себя ненужной частью чужого пространства. Банальные мысли о близком конце уже не донимали его назойливыми окриками, а превратились в ровное гудение миниатюрного компрессора, все более наполнявшего его отупляющим эфиром бессмысленности дальнейшего существования. Надежда же при этом вела себя крайне стеснительно. Конечно, от подобного состояния его на какое-то время могли избавить французские друзья (а они у него были), но от одной мысли об умных разговорах его тошнило. Горизонтальное положение вскоре все же облегчило его страдания, и он стал замечать стертые звуки улицы, мешающиеся с волнообразно набегающим и стекающим шумом шагов и голосов за дверью. Обнаружился запах — душноватый, глуховатый, настороженный — безвылазный сожитель и хранитель следов визитов сотен постояльцев, сложная субстанция, пропитанная памятью об их поте, чемоданах, вещах, то есть, всего того необходимого и ненужного, что сопровождает человека в его передвижениях и метит неодушевленными железами места его пребывания.

На него вдруг нашла охота принять душ, и он, сев на кровати, принялся подтягивать обстановку номера к своему плану. Да, в то кресло он сбросит серый с зеленью, мятый по последней моде пиджак, на спинку набросит потную рубашку. Брюки расстелет на кровати, а в том, в чем останется, пойдет в ванную, кинув по пути в прихожую ботинки. Интересно, закрыл ли он дверь? Он употребил волю и встал на ноги. До бессилия, слава богу, дело еще не дошло, но вялость была необыкновенная. Расправившись с одеждой, он двинулся в ванную, обосновался там и провел в ней около часа, едва не задремав среди пенного легкомыслия. После ванны ему стало легче, он убрал с кресла одежду и, расположив его боком к окну, сел, прислушиваясь к фонограмме расстроенного городского пищеварения. И тут в голове его возник смутный, но дерзкий позыв.

«А почему бы и нет?» — прислушавшись, ответила влажная голова на подпольную работу мысли.

Он вскинулся, оживился, принялся оглядывать номер, будто оценивая поле битвы, затем встал и облачился в брюки и рубашку, после чего покинул номер и спустился вниз. Судя по тому, как сосредоточенность его движений боролась с их же неловкостью, им завладела некая противоречивая цель. Внизу, в холле, он принял независимый вид и стал присматриваться к малочисленной публике. Не найдя среди чопорных зевак того, кто ему был нужен, он перевел внимание на рецепцию. Там за стойкой находились мужчина и женщина, причем на достаточно близком расстоянии, так что задай он вопрос мужчине, его обязательно услышит женщина. Бедный Вова обнаружил все признаки нерешительности. Он явно хотел спросить нечто своеобразное, но не знал у кого. Вот по холлу из одного конца в другой неторопливо проследовал в дежурном ореоле служебных обязанностей администратор, как нельзя более подходящий для удовлетворения священного любопытства постояльцев. Приметив его, Вова сделал было шаг в его пользу, но передумал и остался на месте. Наконец его взгляд наткнулся на прозрачную фигуру швейцара, что нес службу за стеклянными дверями. Вова встрепенулся и двинулся к нему, едва не насвистывая от избытка независимости.

— Бонжур! — приветствовал он швейцара.

— Бонжур, мсье! — приветствовал его швейцар.

— Я здесь живу. Вы можете мне помочь? — с особым выражением произнес Вова, чувствуя, как краснеет.

— Конечно, мсье, — заиграл догадливой улыбкой швейцар, ухватив намек с полуслова.

— Вы правильно поняли! — подхватил догадливую улыбку Вова и тут же успокоился.

— Мсье желает?... — поощрительно улыбнулся швейцар.

— Что-нибудь худенькое, беленькое и чистенькое из местных...

— Может быть, две?

«Какие к черту две! Тут с одной дай бог управиться!»

— Нет, другие три в следующий раз, — ответил Вова, играя теперь уже фамильярной улыбкой.

— Ваш номер? — склонился к нему швейцар.

— 322.

— И к какому часу?

— К восьми, пожалуйста.

— Мсье прекрасно говорит по-французски, — похвалил швейцар, подтверждая сделку.

— Мсье — потомок французского офицера армии Наполеона, родом из России, — не моргнув глазом, представился Вова.

— О-ля-ля! — почтительно склонился швейцар, не пряча масляных глаз. — Желаю заранее приятного отдыха. К вашим услугам!

— Спасибо!

И они расстались.

Возбужденный Вова поднялся к себе, взял самое необходимое и отправился на прогулку в город, да так успешно, что добрался до Люксембургского сада, побывал в нем, дивясь слепому своему фанатизму прежних дней, и, как ни в чем не бывало, вернулся назад, заметно взволнованный предстоящей встречей с пороком, отодвинувшей в сторону все прочие переживания. На входе в отель швейцар ему улыбнулся. Вова ответил тем же. А почему бы, собственно, и нет?

Вова не был женат, но это вовсе не означало, что он сторонился женщин. Напротив, или *au contraire*, как говорят французы. Само его служение языку чувственности предполагало, так сказать, обратное влияние, поскольку язык намеков и недомолвок не может не родить игривость, а вслед за ней желание ею воспользоваться. Вова ценил женские прелести и знал в них толк. Вот только до проституток не опускался — ни дома, ни здесь. Связи имел достойные и уважительные, соблазнов же было не счесть. Сколько он перевидал этих деревенских дурочек, что, пренебрегая гласными и напуская на себя всезнайство и бывалость, коверкали лицо и язык в желании любой ценой произвести на него впечатление и проникнуть в мир, у дверей в который он служил швейцаром! Но там речь шла о посильном достижении женской цели. Здесь же — о том извращении, что совершается при взаимном согласии и под присмотром денег. Даже странно, как он, лицедей от филологии, до сих пор не познал святая святых французского лицемерия! Или, может, потому, что Мопассан давно переведен?

Стучат, однако. Итак, святотатство начинается. Только без нервов — волноваться ему вредно. Пусть это будет чисто познавательная акция. Можно просто пообщаться. Без рук. В конце концов, он клиент и он платит.

И Вова открыл дверь.

— Бонсуар! — пропело в шаге от него худенькое, беленькое, чистенькое создание. — Са ва?

— Са ва! Антре! — гостеприимно отступил Вова.

Создание вошло и остановилось посреди номера, с легкой улыбкой уставившись на Вову. Никакого смущения. Вова же, напротив, разволновался пуще прежнего.

«Но почему я должен волноваться! Ведь это же самая обычная проститутка!» — попробовал он себя утешить.

Не тут-то было. Проститутка-то она, конечно, проститутка, только выглядит — дай бог каждому! На улице встретишь — не подумаешь. Швейцар словно в душу к нему залез — она была именно та, какую он хотел. Ну, как тут не волноваться. И Вова суетливо указал ей на кресло:

— Я вас прошу, садитесь.

Ну, кто же здесь проституток величает на «вы». Дева мягко присела.

— Как вас зовут? — спросил Вова, устраиваясь напротив.

— Адель. А тебя?

— Зовите меня ВладИ.

— Влади... — чирикнула беленькая птичка.

«Господи, да сколько же ей лет? — соображал Вова. — Восемнадцать-то хоть есть?»

— Надеюсь, вы совершеннолетняя, — как бы пошутил с улыбкой Вова, пристально следя за ее лицом.

— Да, да, не беспокойся! — буднично сообщила дева, будто комнату пришла убирать.

Она была спокойна и почти благообразна. В ней не было ни капли вульгарности, по крайней мере, в той степени, в какой Вова ожидал. Но и та степень, которую он мог подметить, была ничтожна. Во всяком случае, пока.

— Ты хочешь заняться любовью сейчас или позже? — пропела Адель, не меняя позы, где ее сжатые обнаженные коленки склонились немного вбок, служа поддержкой для тонких, уложенных одна на другую ладоней.

- Позже, если вы... ты не против.
- Как хочешь. Ты куришь?
- Я? Да, но сейчас нет.
- Я тоже не курю. Это вредно для здоровья.
- Очень хорошо! Кстати, ты торопишься?
- Но это зависит от тебя! — удивленно вздернула интонацию жрица любви.
- Тогда давай сначала поужинаем! Что скажешь?
- Конечно, раз ты хочешь. Мы пойдем в ресторан?
- Нет, я закажу в номер. Что бы ты хотела?
- Какую-нибудь рыбу и салат.
- Очень хорошо!

Вова снял трубку и перечислил все, что положено, включив туда шампанское, клубнику и десерт. Адель с симпатией взглянула на Вову.

— Очень мило с твоей стороны, — мурлыкнула она. — Если хочешь, я могу раздеться и ужинать нагишом!

- Нет, нет, не надо! — покачал Вова рукой. — Спасибо, не надо! Потом.
- Как хочешь. Тогда, если у нас есть время, я могу пройти в ванную?
- Ну, конечно! Тебе нет нужды об этом спрашивать!
- Спасибо.

И подхватив сумочку, она исчезла.

3

Пока Адель отсутствовала, гарсон принес ужин и сервировал стол. Открыв шампанское, он пожелал бон аппети и удалился. Вова защелкнул за ним дверь и вернулся к столу. Приятное возбуждение владело им, оттеснив боль далеко на задний план. Прислушиваясь к тусклым звукам, доносившимся из-за двери, он представил некоторые ее действия и позы, которые она могла принимать, готовя себя к продаже, ее общение с биде и зеркалом, тонкие пальчики, массирующие грудь, живот и прочие места, куда любят забираться мужские руки. Представил и застеснялся.

Дверь открылась, вышла Адель. Она что-то с собой сделала — перед ним стояло свежее, невинное французское существо, собирающееся с папочкой на прогулку.

«Это черт знает что! Это что-то дикое и противоестественное, то, чем она занимается!» — не выдержал Вова, а вслух сказал:

— Ты очаровательна, Адель!

И предложил ей стул.

— Мерси! — только и сказала она, присаживаясь.

Шармант, шармант, шармант!.. Впрочем, в его нынешнем положении все девушки шармант. И Вова, совсем забыв, что ему скоро помирать, принялся потчевать гостью, заходясь в галантности и захлебываясь в учтивости. Между ними завязался живой отвлеченный разговор, совершенно в стороне от меркантильного повода их знакомства, дар взаимного внимания, каждой минутой доставляющий Вове крепнущую радость бытия. Вова был блестящий рассказчик, и казалось, только для того и пригласил эту молодую француженку, чтобы блеснуть перед ней искусством жить. Он в таких заковыристых красках, линиях и плоскостях поведал ей свою жизнь, что перед ней ожил портрет веселого, неунывающего канальи, выучившего французский язык на русской каторге и там же получившего высшее гуманитарное образование, а ныне путешествующего по миру. Он порхал с ней по долинам французской культуры, нисколько не заботясь, что она и вершин-то не знает. Он цитировал и заходил в экспромтах, парил среди имен, эпох и поколений. Он разогрел ее любопытство, заставил забыть о времени, месте и постели. Она не сводила с него светлых глаз, охотно улыбалась, пару раз похвалила,

всплеснув руками и сказав «Браво!». Что ж, ее дело верное, а его энтузиазм — лишь горячее для ее счетчика...

Вдруг он почувствовал, что устал, откинулся на спинку стула и сказал:

— Et voila...

Она поглядела на его побледневшее лицо с испариной на лбу и спросила:

— ВладИ, с тобой все в порядке?

— Са ва, са ва, — отмахнулся он, сдуваясь, как остывший шар.

— Ну что, кофе? — спросил он, придя в себя.

— Как хочешь, — ответила она, скрываясь за дежурной улыбкой.

Он заказал кофе, им его принесли. Как ни тянул он время, но момент выяснения истинных отношений неумолимо подступал, пока не материализовался окончательно. Он возник из их неловкого молчания — Вова молчал, не решаясь рушить то высокое и деликатное, что витало еще в воздухе, она — потому что молчал он, чем она, впрочем, воспользовалась, тихим жестом достав из сумочки пару презервативов и пристроив их на краешек стола.

— Ну, что же... — вздохнув, приступил Вова, — может, ляжем?

— Если ты хочешь, — с готовностью отозвалась Адель. — Желаете, чтобы я тебя раздевала? Хочешь раздеть меня?

— Нет, нет, я сам! Раздевайся и ты.

Вова оставил гореть ночник, они разделись, причем Адель это сделала ловко и быстро, хотя, как еще это можно сделать, если кроме легкого платья снимать ей было нечего — оказывается, она весь ужин провела в нем, одетом на голое тело, какой и предстала, подрумяненная сбоку густым темно-розовым теплом. Вова, оставшись в трусах, разглядывал аппетитную фигурку с хрупкими плечами, крепкой вздернутой грудью, впалым животиком и ниже, ниже, да, да, там, там, ах, ах!.. Ему хотелось дотронуться до ее подернутой бархатной тенью кожи и пройти ладонью сверху вниз, ловя подобие телесного отзвука, который если бы и последовал, то был бы частью ее профессии, а, стало быть, напускным. И тут перед ним возник вопрос: в какой степени его ласки здесь уместны и уместны ли вообще, учитывая коммерческий сорт их отношений? Другими словами, Вова затруднялся определить степень допустимого чувства при пользовании платными услугами, выход за рамки которого поставил бы его в глупое, сентиментальное, недостойное положение.

Пока он ломал голову, Адель, приложив руку к его трусам и не обнаружив там следов энтузиазма, деловито предложила:

— Хочешь, я поиграю с твоим пи-пи?

— Нет, нет! — очнулся Вова.

Тогда она взяла его ладонь и приложила к своей левой груди, уперев в нее сосок, словно твердый, независимый нарыв встречного желания.

— Са ва? — заглянула она в его глаза.

— Са ва! — откликнулся Вова, решив пустить дело на самотек.

Он повернул ее к себе спиной и прижал, почуяв, как ожил его русский пи-пи. Руки сами побежали по клавиатуре ее тела, обнаруживая там нужные буквы, складывая их в жаркие послания и не забывая нажимать на гладкий услужливый enter, чтобы отправить их в свой адрес.

— Ты можешь оказать мне небольшую услугу? — вдруг спросила она, свернув голову и ткнувшись щекой в его нос, как в ограничитель.

— Конечно! — отозвался он хриплым голосом в ее щеку.

— Когда мы начнем, ты мог бы почитать мне какие-нибудь стихи? Ведь ты их знаешь так много!

— Хорошо, я попробую! — согласился слегка ошарашенный Вова.

Она склонилась, расставив руки на краю кровати, и Вова, запустив ей ладони в подбрюшье, приступил к декламации, выбрав для этого наиболее, как он посчитал, подходящий стих. Сначала он распляющим шлепаньем бедер нащупал ритм, а затем загундосил с натугой, так что гласные в моменты соударений едва не срывались с его голосовых связок, как неловкие гимнасты с канатов:

*Я на площадь пойду к Нотр-Дам,
И тебя, малыша, продам.
С твоих глаз бесстыжих начну
Звонких сто эю на кону.*

*Твои хитрые пальцы продам
Этих птиц непослушных гам,
Твои губы, что вечно лгут
Шестьдесят дублонов дадут.*

*Плети рук твоих я продам
Предложу розы пяток там,
За коленки твои и бюст
Франки даст итальянский хлюст...*

— Ах, как хорошо! Как хорошо!.. — пыталась обратить к нему лицо Адель, но лишь кончик носа ее сверкал сквозь русую россыпь волос.

Ободренный Вова, размашистыми толчками подталкивая гранату вожделение к хриплому взрыву сладкого безумия, продолжал:

*Твой тугой шиньон, что на вид
Словно золото под солнцем горит,
Поцелуй твои заявлю
На торгах, что я объявлю.*

— Не торопи-и-и-сь! — кричала ему Адель. Но Вова уже зачастил:

*Тем, кто цену даст выше всех
Я продам твою душу и смех,
Твое сердце ж, коль будут желать
Я готов в придачу отда-а-а-ать!.. (*)*

Тут Вова, не сумев совместить два финала, потерял дар французской речи, задержался, забуксовал и выдал:

— Расцвела сирень, черемуха в саду!..

Однако партнерша промашки не заметила, поскольку сама в этот момент рычала необычно низким для хрупкого тела голосом. Длинные волосы ее, закинутые через затылок, мотались из стороны в сторону, следуя несдержанным повелениям головы. Вова отпустил ее, и она упала на кровать лицом вниз. Вова рухнул рядом с ней.

— Ммммм-м! Как хорошо-о-о (que c'est bon)! ... — носом промычала Адель. — Bravo, Влади, bravo! Мерси!

— Понравилось? — покровительственно отозвался Вова.

Ей понравилось. Vraiment, c'était beau.

Они лежали и болтали, как добрые любовники, утопившие в лучезарных водах удовлетворения каменистое дно стеснительности. Он спрашивал о ее жизни, она охотно отвечала. Сама она с севера и в Париже уже два года. Довольна и что-либо менять пока не собирается. Слово за слово, он много узнал о ней, но не решился спросить главного — почему она этим занимается? Постепенно ее лицо сделалось по-детски доверчивым, так, что ему захотелось поцеловать ее пухлые губы, но он не пошел так далеко. Да и нужно ли это?

— Ты что, хочешь повторить? — вдруг спросила она, приподняв край укрывающей их простыни и заглядывая под нее.

— Обязательно!

— Тогда уж доставь мне удовольствие еще раз. Ты ведь можешь?

— Конечно, могу! Что ты желаешь?

— Давай повторим это с моим стихом.

— Без проблем! Какой стих?

— Ты его, наверное, не знаешь, его у нас в школе заставляют учить. Но я могу сама его читать, а ты слушай и не торопись. Конечно, было бы замечательно, если бы ты его знал, это был бы супер!

— Хорошо, хорошо! Какой же это все-таки стих?

— Puisque mai tout en fleurs... — тоненько завывала Адель.

— Dans les pres nous reclame... — подхватил Вова. (**)

— Супер, супер! — взвизгнула Адель, — Ты знаешь, ты, оказывается, знаешь, обманщик! Понимаешь, в чем тут дело! У нас в классе преподавал французскую литературу красавчик Шарли Дюбуа, и когда он на уроке перед нами читал этот стих, все девчонки его хотели! А я закрывала глаза, качалась в такт и представляла, как он читает этот стих и берет меня сзади! Наверное, я была идиотка, n'est-ce pas?

— Сколько же тебе было?

— Не помню, двенадцать или тринадцать, кажется...

Она по-кошачьи прильнула к нему, закрепила его боевое состояние, заняла позицию, и он, словно помесь маятника с метрономом приступил к нарезанию строф на короткие равные строчки, заталкивая их в нее одну за другой. И вот уже май, и цветы, и простор обступили их, и лунный свет закачался на сонных волнах, и тени прелестных крон заскользили по их вдохновенной ламбаде, и леса и поля раздвинулись до широты горизонта, откуда небесный свод взвивался к звездам, и стыдливые звезды падали на землю головой вниз, и солнце, тень, облака, зелень, небо с волной, и сиянье, и блеск всей природы распустились махровым цветком красоты и любви! Он кончил один стих, не теряя ритма, перешел к другому, затем к третьему. Перед его глазами трепетала узкая долина ее спины. Она то выгибалась холмом, разделенная надвое мелеющим ручейком позвоночника, то прогибалась от полноводья, и тогда лопатки буграми рвались из нее, словно там пытались прорасти два ангельских крыла; то закручивалась в сторону сломанной в локте руки, то вздымалась к нему, пытаясь выпрямиться, чтобы неистово запрокинутой рукой, как плетью обвить его за шею. Вдохновенный солист — тромбон его желания — трудился сосредоточенно, строго следуя размеру (ибо синкопы при таком подходе неуместны), чувствуя, как каждое погружение выдавливает из поэтической плоти малую каплю любовного яда, падающего сладкой отравой в рифмованную форму, чтобы, переполнив ее, разбежаться по жилам, вызвав конвульсии упоения и краткую потерю памяти. Обнаженный туземец, проникший в зачарованный сад, он достиг, наконец, самых отдаленных его уголков и испытал вместе с ней небывалое доселе состояние поэтического, так сказать, оргазма.

«Если все обойдется — ей-богу, женюсь на французенке!» — думал он, отдуваясь и потев рядом с ней. Притаившаяся в голове боль в тот момент была того же мнения.

— Оставайся на ночь, — предложил он, когда она повернула к нему влажное лицо. — Хочешь?

— Хочу, — ответила она и подставила губы. — Ты очень милый.
Утром он протянул ей 500 евро, она взяла.
— Достаточно? — спросил он.
— Вполне, — ответила она напряженным, как ему показалось, голосом.
— Ты не дашь мне свой телефон? — спросил он.
— Конечно. Звони, — и написала номер на салфетке.
На прощанье он хотел поцеловать ее в губы, но она подставила щеку.
— Salut!
— Salut.

Она ушла, и он ощутил сокрушительное одиночество. Как же так, ведь она только что была здесь две, нет, уже пять минут назад, она даже не успела далеко уйти, хотя, конечно, могла взять такси. Он обвел номер глазами. Вот постель, чьи алебастровые складки, как посмертная маска, хранят остывшие черты их ночной страсти. Вот чашка, из которой она пила свой утренний кофе — в нем остались шоколадные потеки и следы ее губ на краю. Смятая салфетка, которой она смахнула с губ крошки круассана, салфетка с номером ее телефона, крупные цифры с наклоном влево, как учат писать во французской школе. В ванной еще не высохли капли от ее утреннего туалета — до того, как она туда пошла, он все же разглядел легкую черноту под ее глазами. Сейчас придет *femme de ménage* и сотрет все ее следы, уничтожит, выбросит, унесет с собой. Следы его милой проститутки...

Он собирался позвонить ей после обеда и договориться о встрече, но к тому времени совсем раскис — таблетки не помогали, в парижских же аптеках ему сочувствовали, но без рецепта сильнодействующее не отпускали. Промучившись до утра, он улетел домой первым же рейсом, на который смог достать билет.

В Питере вслед черемухе цвела сирень, и пахло корюшкой. Через неделю ему сделали операцию, и три дня он чувствовал себя сносно, но потом внезапно впал в кому и через сутки скончался. На его старинном бюро французской работы, под стеклом, на самом видном месте друзья обнаружили салфетку, белую и легкую, словно засохшая ладонь черемухи, где в центре аккуратными, кокетливо откинувшимися назад черными цифрами был записан, судя по всему, номер телефона. Ниже чья-то рука синими, бессильно падающими в завтрашний день буквами, добавила: «Адель».

(*) — «Торги», Жермен Нуво, перевод автора

(**) — «Май», Виктор Гюго, перевод автора

О ВРЕДЕ НОЧНОГО ПЬЯНСТВА

В купе скорого «СПб-Москва», не замечая друг друга, коротали последние минуты перед грядущим отправлением двое. Один — безнадежно лысый, с недовольным лицом, другой — неопратно-кучерявый, с неуверенным взглядом. Когда минут за десять перед этим кучерявый усилием руки, похожей в тот момент на кривошипно-шатунный механизм, откатил снаружи дверь купе, лысый сидел там, уставившись в окно, за которым фонари вокзала боролись с темнотой зимней ночи. Кучерявый приветливо поздоровался, лысый в ответ медленно повернул к нему тускло блеснувшую голову, неслышно шевельнул губами и снова отвернулся к окну. Кучерявый закинул наверх небольшую сумку, пристроился на краешке соседней полки и затих. Через минуту встал, снял шуршащую куртку, повесил ее на вешалку, затолкал в проем между стенкой и полкой, затем снова сел и принялся глядеть через открытую дверь на суету в проходе. Муравейник-поезд подбирал последних пассажиров, перед тем как закрыть входы и отправиться в ночь. Время здесь, такое же приглушенное как шаги и голоса, текло медленнее обычного.

Постепенно ходьба в проходе сникла, и часть пассажиров сосредоточилась возле окон, руками и лицом отгоняя от провожающих, а заодно и от себя тревогу последних перед дальней дорогой минут. Поезд подождал-подождал, дернулся и, слегка спотыкаясь на стыках, покатился в Москву. С тем и поехали. Минут пять попутчики сидели молча, затем кучерявый вышел из купе и встал к освободившемуся окну. По вагону из одного конца в другой плечом вперед проходили люди, и когда они терлись животами о его спину, ему приходилось прижиматься к поручню. Свернув голову, он провожал их рассеянным взглядом, а затем вновь устремлял его сквозь свое отражение в ночи.

Из служебного купе выступила аккуратная проводница и принялась собирать билеты. Дойдя до них, учтивая женщина вошла и тихим голосом сказала:

— Здесь билеты, пожалуйста.

— Пожалуйста, — войдя вслед за ней, предъявил ей свой билет кучерявый и добродушно добавил: — Что-то нас маловато!

— Ночью сядут, — тихо отозвалась проводница, рассовывая билеты по карманам складки.

— А-а, вот как! — откликнулся тот.

Лысый молчал, обернув к ней недовольное лицо.

— Когда белье будет? — неожиданно спросил он казенным голосом.

— Можете уже получать, — сообщила женщина и покинула купе.

Кучерявый вышел вслед за ней и встал у окна, уступая лысому соседу право устроиться первым. Сосед намек понял, поднял грузное тело и потащил его за бельем. Пока он ходил туда-сюда, а потом копошился за прикрытой дверью, кучерявый выглядывал в окне скудный пейзаж зимней ночи. Черный массив защитной лесополосы то тянулся стеной, то вдруг пропадал, открывая белеющую в темноте равнину с живущими на ее краю редкими огоньками. Снег в канавах вдоль пути был надежно утрамбован воздушными вихрями стальных ураганов, и желтый перфорированный свет, которым их поезд оглаживал откос, лишь добавлял ему мимолетный глянец. Поезд на полном ходу вонзился в станцию и разрезал ее пополам. Замелькали черные деревянные домишки, наполовину утонувшие в пасмурном неприветливом снегу. Кучерявый зябко повел плечами и подумал: «И как только люди здесь живут...» Поезд гулко пересчитал стыки и вырвался на простор. Дверь купе выразительно откатилась, приглашая кучерявого воссоединиться с лысым попутчиком. Помедлив с полминуты, кучерявый пошел воссоединяться. Его сосед, переодетый в тренировочный костюм, сидел, поставив локти на столик и утопив подбородок в сарделечном сплетении пальцев. Кучерявый скованными движениями привел свою полку в боевое состояние, снял сверху сумку и достал походные принадлежности. Вернув сумку на место, он взял в руки кое-какую одежду, чтобы идти в туалет, но в этот момент лысый сказал:

— Переодевайтесь, я выйду.

И вышел. Кучерявый прикрыл дверь, быстро поменял глаженую личину на умеренно мятую, наилучшим образом подходящую шаткому ночлегу, откатил дверь и, отступив, уселся на свою полку. Лысый вернулся и боком протиснулся на место.

Посидели. Помолчали. Кучерявый, стараясь не глядеть в сторону лысого, соображал, чем заняться: почитать или постоять у окна. Спать не хотелось.

— Не хотите составить компанию? — неожиданно дружелюбно предложил лысый.

Кучерявый повернул к нему голову и в замешательстве спросил:

— Какую компанию?

Лысый опустил руку под столик и извлек оттуда бутылку.

— По рюмке на ночь глядя, — предложил он, кивнув на зависший в руке сосуд.

— Даже не знаю... — с сомнением откликнулся кучерявый на неожиданное предложение.

— Коньяк на ночь никогда не повредит. Причем, хороший коньяк. Видите, как нам повезло: едем, как короли. Грех не воспользоваться, — благодушествовал лысый, уловив в голосе попутчика благоприятную неуверенность. Довольный вид прочно поселился на его лице. — Давайте, давайте! — добавил он отеческим тоном, каким сержант загоняет молодого солдата в холодную воду. После долгого молчания его компанейские слова выглядели как целая речь, и кучерявый вдруг почувствовал, что был все это время напряжен, и как напряжение его теперь покидает.

— А почему бы и нет! — решил он, стараясь выглядеть независимо. — У меня, кстати, и бутерброды есть!

— Вот видите! — приятной улыбкой отметил его предусмотрительность лысый, и в его руке появилась шоколадка. Он, не разворачивая, смял ее в широкой ладони и только после этого развернул.

Кучерявый встал и полез за бутербродами. Когда он вернулся на место, на столе уже стояли пластмассовые стаканчики. Кучерявый развернул бумагу с бутербродами, и в купе запахло ветчиной и свежими огурцами.

— Отлично. Как в ресторане, — одобрил лысый и разлил коньяк. — Ну, будем знакомы: Кропоткин. Граф.

— Рома. Роман, — представился кучерявый, и дело пошло.

Коньяк действительно оказался хорошим и быстро дал о себе знать. Кучерявый ухватил бутерброд и жадно, будто весь день не ел, стал откусывать от него большие куски. Лысый в свою очередь взял кусочек шоколада и положил себе в рот, с любопытством посматривая на соседа. Расправившись с бутербродом, кучерявый Роман вопросительно посмотрел на лысого графа, отдавая ему инициативу.

— Ну что, еще по одной? — правильно понял Кропоткин.

— Не возражаю, — охотно откликнулся Роман.

Придерживая толстыми пальцами легкие стаканчики, граф налил в них еще по одной.

— Будем здоровы! — пожелал он.

— Будем! — подхватил Роман.

За этим последовала пауза — исключительно по причине занятых разжевыванием ртов. Но вот фигуры обмякли, стены купе раздвинулись, и вслед благотворному причащению явилась потребность обратиться к добру. Кропоткин поинтересовался:

— В Москву по делам или так?

— Можно сказать, по делам, — сообщил Рома, испытывая подъем духа.

— И чем, если не секрет, занимаетесь? — полюбопытствовал Кропоткин.

— Да как вам сказать... — начал Рома, как всегда затрудняясь с ответом, когда его об этом спрашивали. — Как вам сказать... — тянул он, предвкушая эффект.

Кропоткин терпеливо ждал, сложив на груди короткие толстые руки.

— Пишу, знаете ли! — наконец скромно сообщил Рома, готовясь к привычной реакции. Обычно все его собеседники после такого заявления оживлялись и начинали допытываться, кто он и что написал, теща его самолюбие приятным щекотанием. Лысый граф, однако, даже бровью не повел, а только сказал:

— Вот как!

И бесцеремонно уставился на Рому. Тот в ответ глядел на него рассеянно, готовый отвечать на однообразные вопросы. Не было еще случая, чтобы их не было.

— И что же пишете? — спросил Кропоткин, вздергивая брови на середину лба.

— Да так, по-разному. Пьесы, повести, сценарии. До крупных форм еще не дорос, — скромно ступил на проторенный путь Рома.

— А позвольте спросить, над чем работаете сейчас? — перескочив через целый блок вопросов, спросил Кропоткин.

— Хочу написать детектив, — помедлив, признался Рома, которому такая прыть не понравилась.

— О! Детектив! Люблю детективы! — оживился граф. — Обожаю детективы! И о чем же будет ваш детектив?

— Ну, как можно об этом говорить! Ведь тогда пропадет вся тайна, весь резон! Да и, по правде говоря, я и сам еще не знаю, что это будет. Не придумал еще. Вот хочу написать, а о чем — еще не знаю, — неожиданно для себя разболтался Рома.

— А знаете что, а давайте-ка мы еще по одной, и я вам, пожалуй, предложу один сюжетец! — неожиданно блеснул глазами, как лысиной, граф. — Уверен — вам понравится!

— Ну-ка, ну-ка! — потер ладони Рома, увлеченный блеском чужих глаз и, спохватившись, спросил: — А вы сами, кстати, чем занимаетесь?

— Да так... Можно сказать, по казенной части, — отмахнулся Кропоткин и взялся за бутылку.

В стаканчиках снова булькнуло и оттуда плавно перетекло в пункты конечного назначения.

— Так о чем ваш сюжет? — заторопился Рома, едва освободился язык.

Заложив в рот дежурный шоколад и вытянув вверх указательный палец правой руки, Кропоткин загадочно смотрел на Рому, словно говоря: «Погоди! Щас съем и спою!»

— А вот послушайте! — прожевав шоколад, приступил он, наконец. — Слушайте:

Представьте себе человека, ну скажем, нашего с вами возраста, которого дела позвали в Москву. Ему и хочется, и не хочется туда ехать — зима, знаете ли, слякоть — но дела зовут. И тогда он, купив билет в оба конца, собрал небольшую сумку нужных в дороге вещей, прихватил на всякий пожарный случай пару бутербродов, хотя продукты в наше время — не проблема, но синдром голодного детства и все такое, знаете ли... В общем, собрался, посидел на дорожку, обнял домочадцев и поехал на вокзал. И вот едет он с окраины города в пустом вагоне метро — время-то позднее! — а напротив в неопрятных позах сидят ну полные отморозки из молодых, и так это иногда на его сумку и на него посматривают. Хорошо, что ближе к центру стал прибывать народ, а то неизвестно, чем бы все это кончилось. Но, слава богу, доехал он до Московского вокзала, побродил по залам, чтобы время убить, а тут и на посадку позвали. Идет он на посадку и радуется: «Сейчас сяду в теплый вагон, согреюсь. Глядишь — соседкой девица молодая, симпатичная окажется. Пока ля-ля тополя и все такое — там уж и спать. А уж коли заснул, то проснулся уже в Москве. А уж, коли в Москву попал, то и про время забыл. Днем-то точно времени не будет, а вечером при удачном стечении обстоятельств можно с друзьями протусоваться, или найти другой вариант. А к ночи — назад. Главное, с этими пьянками на поезд не опоздать. А уж там ночь проспал — и дома». Одним словом, мечтает наш герой, расписывает свою жизнь буквально по минутам на несколько дней вперед!

Здесь Кропоткин остановился и сосредоточил свой взгляд на Роме, словно спрашивая: «Ну, как зачин?»

Но затаилась в его взгляде и лице какая-то особая хитреца, и Рома не нашелся, что сказать. Тогда Кропоткин спросил:

— Ну, как зачин?

— Но в чем же тут интрига? — неуверенно спросил Рома. — Где жертва, где убийца?

— Экий вы скорый! Что наш поезд! Нет уж, давайте для начала углубимся с вами туда, куда ведет нас вдохновение. Надеюсь, вы знакомы с этой дамой среднего рода?

«Ты смотри, какие образованные люди работают нынче по казенной части!» — пронеслось в голове у Ромы, который, не отрываясь, глядел на лысого собеседника.

— Ну, хорошо, предположим, — уклонился он от определенного ответа.

— Тогда поехали дальше. Итак, идет наш герой на посадку и строит планы. Вот он подошел к вагону, достал билет и сел в поезд.

Тут Кропоткин сделал паузу, снова вздернул указательный палец и, в упор глядя на Рому, многозначительно произнес:

— А за десять минут до этого в тот же вагон и в то же купе прибыл другой человек. Ну, скажем, такой же лысый, как я. Что скажете?

— Ничего не понимаю, — честно признался Рома, начиная испытывать непонятное беспокойство.

— И правильно делаете, так как понять еще действительно ничего невозможно! — удовлетворенно сказал Кропоткин, направляя на Рому указательный палец, как пистолет. — Пойдем дальше. Когда наш герой зашел в купе, этот другой человек уже сидел там, уставившись в окно, за которым фонари вокзала боролись с темнотой... Вам какое время года больше нравится — зима, лето?

— Весна, — заморожено ответил Рома.

— ...За которыми фонари вокзала боролись с прозрачной темнотой весенней ночи. Наш герой с порога приветливо поздоровался, лысый человек в ответ медленно повернул к нему тускло блеснувшую голову, неслышно шевельнул губами и снова отвернулся к окну. Наш герой закинул наверх небольшую сумку, пристроился на краешке соседней полки и затих. Через минуту встал, снял шуршащую куртку, повесил ее на вешалку, затолкал в проем между стенкой и полкой, затем снова сел и принялся глядеть через открытую дверь на суету в проходе. Муравейник-поезд подбирал последних пассажиров, перед тем как закупорить входы и отправиться в ночь. Время здесь, такое же приглушенное, как шаги и голоса, текло медленнее обычного... Ну, нормально?

— Что нормально? — очнулся Рома.

— Ну, годится для детектива?

— Я уже совсем ничего не понимаю!

— Тогда слушайте дальше. Не стану утомлять вас подробностями о том, как эти два человека добрых полчаса делали вид, что не замечают друг друга, но, в конце концов, стандартный ход событий привел их к тому, что они, застелив постели, оказались на своих местах один против другого. Сидели. Молчали. На дворе и на часах — весенняя ночь. Наш герой, стараясь не глядеть в сторону попутчика, размышлял, чем заняться: почитать или постоять у окна, потому что спать ему не хотелось. И в этот момент лысый человек сказал нашему герою:

«Не хотите составить компанию?»

«Какую компанию?» — спросил наш герой.

«По рюмке на ночь глядя» — предложил тот.

«Даже не знаю...» — начал с сомнением наш герой.

«Коньяк на ночь никогда не повредит. Причем, хороший коньяк. Видите, как нам повезло: едем, как короли. Грех не воспользоваться, — напирал лысый, уловив в голосе попутчика неуверенность. — Давайте, давайте!»

«А почему бы и нет! — сказал наш герой, стараясь выглядеть независимо. — У меня, кстати, и бутерброды есть!..»

— Стоп! Хватит! — вдруг выкрикнул Рома.

— Что? Что такое? Вам что-то не нравится? — услужливо поинтересовался Кропоткин.

— Зачем вы это делаете? — возбужденно заговорил Рома. — Зачем вы это рассказываете? Ведь это же про нас! Что вы хотите этим сказать?

— С чего это вы взяли, что это про нас? Ведь герои нашей истории еще не познакомились, и их имена на самом деле не обязательно должны совпадать с нашими! Ведь это в вашей воле! Сделайте так, чтобы их звали по-другому! И потом — разве мы с вами не можем стать прототипами героев детектива? К тому же, мне кажется, вы рано возбудились: еще абсолютно неизвестно, чем дело кончится! Может вам повезет, и вы окажетесь тем самым героем! Неужели вы не хотите стать героем детектива?

При этих словах Кропоткин подался вперед, подставив глаза под мелькающие фонари очередного полустанка. Белый свет фонарей превратился в его глазах в желтый, а сами глаза заискрились, как свечи зажигания. Рома не выдержал и отшатнулся от навалившегося на него зрелища.

«Черт знает что такое!» — полыхнуло в его голове, и он сказал:

— Давайте еще по одной!

— Вот это правильно! — возвратившись в прежнее положение, одобрил Кропоткин и разлил коньяк: — За ваш детектив! Уверен, это будет бестселлер!

Рома выпил торопливо, граф не торопясь и с достоинством. Некоторое время оба молча жевали. Рома, глядя в сторону, доедал второй бутерброд, Кропоткин, глядя на Рому, заканчивал шоколад.

— Теперь у вас нет бутербродов, — заметил граф после того, как Рома покончил со вторым.

— А у вас — шоколада, — вяло парировал Рома.

— Ну, этого добра у меня навалом! — успокоил его граф и, помолчав, добавил: — Ну что, продолжим?

— А чего продолжать, — пробормотал ословевший Рома, — и так все ясно...

— Что это вам такое ясно, когда мне еще не все ясно? — вкрадчиво спросил граф.

— А мне ясно... Вы сейчас перескажете все, что с нами было, потом остановитесь и станете задавать вопросы. Я буду на них отвечать, потом вы все это повторите и так до тех пор, пока я не засну. Это у вас, наверное, игра такая... — сказал Рома и зевнул.

— Ошибаетесь, — проскрипел Кропоткин, — вот тут вы ошибаетесь. Это никакая не игра. Потому что как только наш герой заснет, тут-то ему и смерть.

Рома уставился на своего соседа, с трудом ворочая мозгами.

— Почему смерть? При чем тут смерть? Не-е-ет, так не бывает... Герои не умирают... Умирают случайные персонажи... А герои не умирают... Иначе это не детектив... — путаясь в словах, произнес Рома и зевнул.

— А с чего вы взяли, что наш герой — герой, а не случайный персонаж? Это, извините, не вам решать! Вот допьет он с лысым коньяк, поговорят они еще немного и лягут. А ночью-то лысый возьмет, да и вколет нашему герою укольчик! И привет — нет героя! А труп есть. И героем будет кто-то другой. Вот вам и завязка. Поезд — это же любимейшая поляна «глухарей»!

— Но как же так? А где же мотив? — слабея, вытаращил глаза Рома.

— А нет мотива! Или, все-таки, есть? Да, есть! Скажем, лысому его шевелюра не понравилась! Нормальный мотив?

— Ну, вы даете... — пробормотал Рома, чувствуя легкое отрезвление.

— А хотите знать, как это будет? — произнес Кропоткин, с настойчивым любопытством глядя на Рому.

— Что будет? — застывшим голосом пробормотал Рома.

— Как будут выглядеть последние минуты нашего героя!

— Ну... давайте... — простучал зубами Рома, в изнеможении цепляясь за игру.

— Это будет выглядеть так:

«Если мы не договоримся — ваш герой умрет» — ясным голосом произнес лысый.

«Ну и черт с ним...» — зевнул наш герой.

«Значит, вы согласны?» — вкрадчиво сказал лысый.

«С чем?» — держался из последних сил, чтобы не уснуть наш герой.

«Чтобы я был вашим соавтором!»

«Да ради бога!» — уже с закрытыми глазами пробормотал наш герой.

«Нет, только ради меня!»

«Да черт с вами, согласен...» — пробормотал наш герой и рухнул боком на постель».

— Вот так все и будет. А за этим последует, как я вам уже описал, укольчик. И привет — нет героя! — улыбаясь и пристально глядя на Рому, произнес граф Кропоткин.

— Мне в туалет надо, извините, — пробормотал Рома и пулей вылетел из купе. Заскочив в туалет, он крутанул защелку и принялся изливать свой страх в подставленный унитаз. Потом встал против зеркала и, не смея туда взглянуть, принялся мыть руки, пытаясь при этом сосредоточиться. Напоследок он все же не утерпел и взглянул на себя одним глазком. За его плечом весело скалил зубы граф Кропоткин.

Рома выскочил из туалета и тут остановился, не зная, куда податься. Слева был тамбур, справа его ждал граф. Как быть? Попросить у проводницы место в другом купе? А на каком основании? Сосед не нравится? Она, конечно, пойдет разбираться, увидит следы ночного пьянства, культурного лысого гражданина в тренировочном костюме, да если он ей еще чего умного скажет, а он это может, так вот и окажется в ее глазах сам Рома капризным, вздорным пассажиром, который сначала пьет с другими, а потом затевает склоку, и которого не то что в другое купе переселять, а с поезда нужно снимать! В лучшем случае она скажет: «Ложитесь-ка, граждане, спать!», в худшем — позовет милицию. Не станешь же ей объяснять, что он теперь с лысым в одном купе даже в ее присутствии не заснет!

Рома терзался, терзался, а потом неожиданно подумал:

«А что, собственно, такого случилось? Встретил умного человека? Да этому радоваться надо! Сидим с ним культурно, понимаешь, практически, как в творческой лаборатории, то бишь, на кухне! Разговоры ведем самые продуктивные, только успевай записывать! Чего я переполошился? Конечно, алкоголь обостряет впечатлительность, но не до такой же степени! Чего такого этот граф нафантазировал, что я чуть в обморок не упал? Подумаешь, сюжет! Тоже мне, конкурент!»

Рома подумал так и неожиданно почувствовал себя спокойным и трезвым. В конце концов, спать или не спать, так же как пить или не пить — это ему решать, а польза от общения очевидная. Короче, литератор в нем взял верх над обывателем, и Рома заспешил обратно в купе. Зайдя туда, он, как ни в чем не бывало, плюхнулся на место.

— Ну, граф, — словно пробуя на зуб новое для себя обращение, развязно спросил он, — как вы тут без меня?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.